

НАСЛАЖДЕНИЕ ИСТОРИКА

Ж. Дюби

...Рассказ, который он мне поведал, сам по себе был, конечно, обманом, выдумкой, каким и обречен быть любой рассказ о происшедших событиях, хотя бы уже потому, что события, подробности, мельчайшие детали, став предметом повествования, приобретают внешнюю значительность, весомость, которых им в момент совершения никто не придавал...

Клод Симон

Жорж Дюби родился 7 октября 1919 г. в Париже, в двух шагах от площади Республики. Окна квартиры выходили во двор. Этот двор был его первой площадкой для игр. Иногда туда проникали лучи солнца; зеленые растения тремя рядами тянулись перед входом в комнату консьержа; между камнями мостовой то тут, то там пробивался мох; и запах кожи, резкий и приятный, исходил от подвалов, казавшихся ему бесконечными...

Долгое время – честно говоря, до того самого момента, как я занялся окончательным редактированием – моим намерением было писать от третьего лица, чтобы сохранить дистанцию. Я отказался от этого, боясь выглядеть неискренним. Но решил, по крайней мере, держаться несколько отстраненно. Прежде всего, и это главное: я не буду пересказывать свою жизнь. Мы договорились, что я представлю в этом очерке *эго-истории* лишь какую-то часть себя. *Ego-laborator*, если хотите, или даже *ego-faber*. Поскольку я не буду говорить, к примеру, ни о живописи, ни о театре, ни о музыке, и ничего не скажу о тех, кого люблю, совершенно очевидно, что о главном я умалчиваю.

Я, таким образом, расскажу о моей общественной жизни, стараясь показать, как на протяжении одного короткого периода всеобщей истории разворачивалось то, что называют карьерой. Это может показаться простым. Но это не так. Ведь в тот или иной момент мне, конечно, приходилось приспособливаться, лукавить, притворяться, занимать чужое место. Как бы не показать себя лучше, чем есть? *Ego faber gloriosus*. Каждый историк до изнеможения гоняется за истиной, и эта добыча всегда ускользает от него. Я думаю, что близок к тому, чтобы ее поймать, когда пытаюсь установить, что такое битва при Бувине или Аустерлице. Но если я ищу ответа на вопрос, как в XII веке люди любили или полагали, что любят, то вижу, что она от меня уже дальше. И это расстояние еще больше увеличивается, когда я рискую описывать мои профессиональные приключения, обращаясь не к тем, кто меня знает и кто мне дорог, но к людям, которых я никогда не видел и большинство из которых лишь бегло просмотрят эти страницы. Никому не дано свободно управлять своей памятью. Как это говорится? Чувство, над которым я не властен, невыносимо. Кроме того, у меня было сильное искушение подправить свои воспоминания, поскольку я убежден, что неосознанно их все равно подправляю, подчищаю, что они и сами собой подчищаются, пока я живу. А потому тех, кому эта история интересна, я призываю к сказанному ниже подходить с осторожностью.

Набело изложив результаты своих размышлений, я был потрясен ролью случая в моей жизни. Некоторые из моих коллег могут назвать то, что очень рано предопределило их судьбу стать историками. Я же тщетно искал нечто подобное. Первые прочитанные мною исторические романы никак меня не затронули. Я не помню, чтобы мне нравилось мечтать среди памятников прошлого, окружавших меня в Париже. Исторические события долгое время меня не удивляли. Посмотрим же, что осталось в глубине моей памяти. Памяти слуховой: эхо приземления Линдберга¹, передаваемое по детекторному приемнику. Памяти визуальной: гроб генерала, одного из победителей Первой мировой войны, – я уже не помню кого – который везли на пушечном лафете под серым дождем (осталось также, более глубоко скрытое, воспоминание о республиканской гвардии, атаковавшей бастион на бульваре Мажента, но я не вполне уверен, что был непосредственным свидетелем этого). Первое политическое потрясение, о котором я сохранил ясное воспоминание, – 6 февраля². Самое давнее, что я воспринимал, как имеющее отношение ко мне лично, – приход к власти Народного фронта. Как видно, моя память коротка. Это – не воспоминания прирожденного историка. Сведения о каких-то еще более отдаленных со-

¹ Линдберг, Чарльз (1902–1974) – американский летчик, совершивший в 1927 г. первый беспосадочный перелет через Атлантику (из США во Францию). – *Прим. пер.*

² 6 февраля 1934 г. в Париже имели место антиправительственная демонстрация ультраправых и организованная левыми контрдемонстрация. – *Прим. пер.*

бытиях были переданы мне устно, в семье. Мне запомнилось лишь вторжение казаков. Моя бабушка помнила рассказ своей бабушки. Самые древние документы моей семьи датированы концом XVIII в., и у меня никогда не было интереса искать что-то более раннее. Когда пришло время зарабатывать себе на жизнь, ничто – я в этом убежден – не указывало на то странное предназначение, которое состоит в том, чтобы удалиться от людей, погрузиться в тишину и пытаться со столь малыми знаниями, теряясь среди запутанных, блеклых, исчезающих следов, понять что же произошло много веков назад. Виной всему, похоже, серия непредвиденных случайностей, коими я воспользовался.

Мне скажут: чтобы я ими воспользовался, мой выбор должен был чем-то определяться. Да, но чем? Я не исключаю, что в каком-то возрасте воспоминания детства неудержимо нахлынут из глубины моего сознания, воскресив для меня и моих родных ту раннюю пору моего существования в красном и черном Париже, который впервые увидели мои глаза. Но если так произойдет, то это не вызовет у меня желания, как, впрочем, и интереса, искать там мотивы, имевшие какие-либо последствия для предмета нашего разговора. Полагаю все же, что должен в этой преамбуле сделать два замечания, которые, быть может, что-то объяснят.

Primo. И отцовская, и материнская линии моей семьи происходят из той самой Восточной Франции, особенности которой описал Люсьен Февр. Отсюда недалеко и до крестьян. Однако в памяти они не сохранились. В ней остались лишь мелкие нотабли из маленького городка, мужчины с пышными усами, те, кто в молодости должен был рассчитывать только на себя и возвысился благодаря бережливости, те, кто, управляя своими женами, детьми и работниками, заботился, прежде всего, о безопасности и лишь затем о досуге. Для них хорошо выполненная работа имела основополагающую ценность. Подолгу живя под одной крышей со своими работниками, они никогда не стремились отделяться от народа, стараясь не переходить на другую сторону невидимой границы, которая бы их разделила, и неуютно чувствовали себя среди настоящих буржуа, некоторые вкусы коих они, тем не менее, разделяли. Предпочитающие держаться в стороне, чтобы жить более свободно, крепко привязанные к этой свободе, благоразумно копящие деньги в соответствии с духом их времени, скорее для того, чтобы как можно быстрее получить право ничего больше не делать, нежели ради удовольствий.

Secundo. Я провел детство заточенным в Париже, задыхаясь в близком к центру квартале, где простой люд смешивается с полусветом. Каждое лето, уезжая в маленький, сонный и насквозь пропахший деревней городок, я испытывал чувство освобождения, мог дышать. Отсюда, наверное, то отношение к Парижу, которое сыграло свою роль в моменты решающего вы-

бора. Отношение неоднозначное, соединяющее в себе и притяжение, и сдержанность.

I.

Итак, начальной точкой своего интеллектуального пути я считаю лицей небольшого городка. Я поступил туда в 1932 г., надолго покинув Париж. С тех пор столь многое изменилось, что я должен объяснить, что более полувека назад представляло собою учреждение такого типа в провинции. Семь классов, менее двухсот учеников, около трети – интерны. Нужно ли говорить об элитарности? Действительно, я не видел среди моих сокурсников ни одного сына рабочего. Честно говоря, в городке было мало рабочих. Буржуазия чаще отправляла своих детей в другое место, в соседний католический коллеж. Лицеистов набирали из среды зажиточного и благонамеренного крестьянства, торговцев и особенно среди государственных служащих. Сыновья сельских учителей, как мне кажется, составляли наиболее многочисленный контингент. Все учителя или почти все имели диплом преподавателя высшего учебного заведения (*étaient agrégés*). Всего на несколько лет старше нас, жизнерадостные и благодушные, они, казалось, счастливы своей жизнью. После связанных с конкурсом тревожений они получали удовольствие от преподавания, соревнуясь друг с другом без всякого принуждения. Позже они разделятся, заняв разные ступени иерархии в лицее большого города Лиона. На протяжении шести лет я проводил самые светлые дни моей жизни в обществе этих учителей. Я был приходящим учеником, но, как говорили, «под присмотром» («surveillé»), то есть каждое утро переступал порог, чтобы не выходить оттуда – за исключением краткой вылазки на обед – до семи вечера. Чувствовал ли я себя запертым? Нисколько. В этих стенах я наслаждался свободой так же, как я наслаждался ею позже в казарме. Разве когда-либо еще в своей жизни я столько смеялся и столько узнал нового, как в то время? В любом случае, я уверен, что получил тогда самое главное: изучил в трех последних классах: грамматику, риторику и философию.

Можно только удивляться тому объему новейших знаний, которые, при тогдашнем состоянии средств коммуникации, удалось получить от очень молодых людей и так далеко от столицы, в городке, насчитывающем менее 20 тыс. жителей. Первыми поставщиками этой манны знаний были, конечно, преподаватели. Большинство из них стремилось дополнить обязательное преподавание классических дисциплин теми из новинок, которые считали наиболее достойным. Учитель рисования показывал рисунки Матисса, преподаватель литературы предлагал прочитать «Путешествие» или «Завоевателей» Андре Мальро. Приходила к нам информация также извне. И если в течение долгих безмолвных часов вечерних занятий, сидя всегда за одним и тем же столом в глубине зала, мы с моим другом прочли все последние новинки того времени, то лишь благодаря тому, что он сни-

мал в городе жилье вместе с учениками Эколь Нормаль, которые были старше нас. Они научили нас анализировать события. От них мы узнавали, что следовало любой ценой прочесть, увидеть, услышать: «Путешествие в Конго» Андре Жида, «Аталанту»³, Армстронга. Наконец, по четвергам, во второй половине дня мы учились друг у друга в кафе или во время бесконечных прогулок на свежем воздухе – несравненное удовольствие. Природа была рядом. (В этой связи мне вспоминается одна из таких прогулок. Это случилось позже, год спустя по окончании лица. В один из осенних, слегка туманных дней мы, обеспокоенные, долго бродили среди холмов. Споры в тот день шли о Мюнхене, мы считали эту тему главной. Возвращаясь, мы пришли к полному согласию. Мало что еще понимая, в свои девятнадцать мы любили жизнь, мы страстно любили жизнь. Радость переполняла наши сердца, ведь оружие, которое, мы чувствовали, направлено против нас, было вдруг отведено в сторону, вопреки всякому ожиданию).

Однако война нас увлекала – война в Испании, которую вели анархисты. Мы поддерживали Народный фронт не только потому, что наши родители боялись красного флага. Мы были настроены против несправедливости, унижений, мы не могли вынести, что *Gringoire* подтолкнул Салангро к самоубийству⁴. Истоки этого благородного порыва – в системе образования, эффективность и качество которой сегодня трудно себе представить, так же как и ее привлекательность, особенно для тех, кто через нее проходил. На протяжении шести лет я обильно питывался гуманизмом, чья ценность состояла в том, что он легко сочетался с моральными устоями моей семьи. Уважение, с которым мой отец и дед, оба ремесленники, относились к добротным сделанным вещам, их стремление превзойти в своем ремесле конкурентов, их убежденность в том, что усердие в работе позволяет подниматься вверх по социальной лестнице, – все эти принципы я перенес с ручного труда на интеллектуальный. Их благоразумие дополнялось убежденным пацифизмом, который исповедовали и все наши преподаватели в то время, когда незаживающие, жестокие раны, оставленные Первой мировой войной, все еще кровоточили перед нашими глазами. Что касается крестьянского недоверия ко всякой вербовке и пропаганде, упорного стремления любой ценой сохранить свою самостоятельность, то они вылились в анархистское отношение к жизни, в сопротивление любым принудительным ограничениям, неприязнь к догматике и непрошенным учителям, ко всем тем, кто собирался сделать других счастливыми, независимо от их желания. Инстинктивный антифашизм приобрел у меня саркастический оттенок. Моя природная склонность изначально относиться с иронией к

³ «L'Atalante» – фильм Жана Виго (1934 г.) – *Прим. пер.*

⁴ Речь идет о французской ультра-правой газете *Gringoire*, которая в 1936 г. довела министра-социалиста Салангро до самоубийства. – *Прим. пер.*

самым серьезным вещам была усилена полученным мною образованием. На уроках французского мы почти целый год занимались риторикой, комментируя сначала «Опыты», а потом «Кандида» Вольтера.

В лицее у меня было ощущение, что моя жизнь почти постоянно наполнена радостью, удовольствием. Естественно, что я мечтал там поселиться, вернее, поскорее туда вернуться, на сей раз в другом качестве – одним из преподавателей. Мне казалось, что они так же счастливы, как и я. Дома мое желание преподавать не вызвало возражений: это ремесло, казалось, обещает свободу, творческую работу, жизнь почти как у рантье. Хорошо, я буду преподавать. Но что? Я ничего об этом не знал. Впрочем, я испытывал все меньше и меньше уверенности в том, что вообще буду хоть что-то преподавать: собирались тучи, о войне говорили все чаще. Но в любом случае, это оказались бы не точные или естественные науки: годом раньше я сделал выбор в пользу философского класса. Но его руководитель, здраво рассуждая, отговорил меня заниматься этой дисциплиной и посоветовал историю: она будет лучше соответствовать, полагал он, моей склонности бороться скорее с вещами, чем со словами. История? Почему бы нет? Честно говоря, никакого призвания я не чувствовал. Но за три года мои учителя истории сумели меня увлечь. Один гораздо менее охотно рассказывал о политике Ришелье, чем об «Орфее» или «Пастухах Аркадии». Другой вдохновлял нас на чтение работ Матьеза о Робеспьере и Марате. Третий, не будучи марксистом, старался ясно и четко изложить нам учение Карла Маркса (я получил действительно редкую возможность познакомиться с этим учением вне связи с какой-либо политической пропагандой).

В ноябре 1937 г. я обосновался в довольно большой комнате с двумя окнами на Рону, поступив на гуманитарный факультет в Лионе. Теперь факультетов больше не существует. Я должен снова обратиться к истории, объяснив, что они собой представляли накануне Второй мировой войны.

В то время каждый, имевший право на преподавание, обеспечивался рабочим местом. Чтобы такое право обрести, нужно было получить пять сертификатов – по два в год, но в любом порядке – один по географии, три по истории и последний по «изучению классической литературы». Кто хотел подняться выше, должен был на четвертом году, располагая еще большей свободой, подготовить несколько письменных работ. После этого наиболее честолюбивые вступали в решающий бой: с волнением и напряжением всех сил они участвовали в конкурсе (l'agrégation). Факультет в Лионе был самым большим: около двухсот студентов на отделении истории и географии, шесть профессоров, коим помогали на некоторых дополнительных занятиях еще два преподавателя – египтолог и историк искусства. Итого восемь преподавателей. У студентов, сдававших за один год два экзамена, получалось, таким образом, с середины ноября по середину мая самое большее 7–8 часов занятий в неделю. В то время педагоги относились к

этим молодым людям, как к взрослым мужчинам и женщинам, которыми те собственно и были, считая их способными к самообразованию и организации работы по собственному вкусу. Студенты были предоставлены сами себе, своим занятиям, книгам, материалам и документам.

Детей из богатых семей, большинство из которых для повышения общей культуры одновременно посещало факультет права, было меньше, чем в лицее. Детей преподавателей тоже, они предпочитали дополнительный курс лицея, необходимый для подготовки в Эколь Нормаль. Очень мало было стипендиатов. Большинству студентов и студенток приходилось зарабатывать себе на жизнь, работая смотрителями в дортуарах. На занятия у них оставалось мало времени. Мне повезло больше. Я располагал всем своим временем, поскольку родители меня поддерживали. Я много занимался в читальных залах, светлых, просторных, тихих. Но каждый день около пяти часов я покидал их. Оставив орудия своего труда, я уходил, как рабочий в субботу вечером, руки в карманы, свободный ото всего, не думая больше о том, что делал мгновением ранее. Меня несло течением: я погружался в пространство извилистых улиц города, шел к друзьям, в теплые, светлые, защищенные от ветра местечки, где долгие часы проходили в нескончаемых и веселых разговорах. Все предавались радости бытия, видя, как постепенно приближается опасность. Надо было пользоваться случаем.

Здесь следует остановиться на двух моментах. С одной стороны, университет в Лионе оспаривал у университета Страсбурга звание лучшего учебного учреждения провинции. С другой стороны, наиболее престижным тогда было географическое образование. Я выбрал для начала эту дисциплину. Честно говоря, – с намерением побыстрее от нее избавиться: она мне наскучила еще в лицее. Я и не подозревал, что в своем быстром развитии она оставит позади все гуманитарные науки. За несколько дней я был покорен. В первую очередь, людьми, в чьи обязанности входило меня учить. Это были два ученика Рауля Бланшара – Андре Жибер и Андре Алликс, выходцы из гренобльской школы, соперничавшей с парижской. Алликс обладал стáтью, манерами и привлекательностью благородного сеньора. Он старался соответствовать этому образу, покоряя пронизательностью взгляда, солидностью анализа, ясностью речи. В университете я нашел трех покровителей: Денио, Алликса и Перрэна, о коем скажу далее. Между тем, в географии меня весьма привлекало внимание к реальным, осязаемым вещам, необходимость открыть глаза, чувствовать, ощущать. Чтобы понимать ее, нужно было выходить на свежий воздух и наблюдать окружающий мир, где сельское хозяйство все еще играло важную роль и взгляд неизбежно обращался к тем вещам – куску кожи, деревянной кадке, кнуту, – которые служили еще моим предкам, к земельным угодьям, сухим или плодородным, казавшимся со времен моего почти безвылазно проведенного в Париже детства недостижимой мечтой. Я наслаждался возможно-

стью бродить по полям, дорогам, бывать среди жителей небольших городков, где пытался понять связь между их способом труда, их инструментарием, обычаями и следами, которые они оставили на земле и которые еще только собирались оставить.

С началом моей учебы в университете, я почувствовал вкус к этой науке на свежем воздухе. Она научила меня методам, которые я всю жизнь применял в своем ремесле. Это проявилось в двух отношениях. 1. Чтобы приступить к усердному изучению планов и карт, мне надо было сначала осознать необходимость придания, насколько это возможно, зримой материальности различным феноменам жизни общества, располагая их в пространстве, вписывая в него. 2. И еще более важным оказался фундаментальный вывод, побудивший меня исследовать ландшафт и толковать картографические записи, а именно – в любой человеческой деятельности неразделимо присутствуют и материальный компонент, и нематериальный, то, что идет от природы, и то, что от культуры.

Исследования, проводившиеся мною в зиму 1937–1938 г. в тиши комнаты наедине с картами и особенно на местности, заложили основу метода, который я позже использовал в своей работе историка и который основан на убеждении, что общество являет собой некую целостность, что оно должно рассматриваться глобально – в единстве среды и всех его компонентов без исключения, в запутанном переплетении бесконечных детерминаций, относительно коих бесполезно спрашивать себя, какая из них самая главная – «последняя инстанция», поскольку по-настоящему важны лишь их взаимодействия и связи. И поскольку мне стала совершенно очевидна необходимость обращаться для объяснения того или иного их сочетания как к почвоведению, так и к демографии, как к климатологии, так и к экономике, как к ботанике, так и к истории нравов и институтов, я понял, что гуманитарные исследования нельзя плодотворно вести без тесной связи с другими дисциплинами, без использования их методов и специфических подходов.

Я слушал также лекции историков. Я не был сразу же ими увлечен. Предпочитая изучать события и политическую сферу, они стремились показывать, в основном, конкретные точные факты в их прямой причинной зависимости. Сегодня я знаю, чем я обязан поразительной эрудиции Роже Дусе, суровой ясности Андре Фюжье. Год спустя я был среди тех десятидвенадцати студентов, кто, сидя на деревянных скамьях в большой аудитории, занимался с Леоном Омо. Это не были лекции. Омо написал достаточно много очень хороших книг. Ведя занятия, дополнявшие основной курс лекций, он ограничивался проверкой заданий. Но эти исправления исходили от великого ученого, в совершенстве владевшего своим ремеслом. Он отдавал нам лучшее, что у него было (так же, как лучшая часть Марка Блока нашла отражение в рецензиях и критических заметках, неус-

танно писавшихся для «Анналов»). Я помню, как по изданиям Жана де Турна готовил комментарии к Диону Кассию и Аммиану Марцелину в муниципальной библиотеке, наполненной ароматом вербены и воска, которые мне более никогда не довелось ощутить. Именно там у меня пробудился интерес к скитаниям по лабиринтам мертвого языка в поисках забытых понятий. Наконец, на третий год, готовясь к последнему из оставшихся у меня экзаменов, я слушал одного лишь профессора Жана Денио. Средние века я оставил напоследок. Не из-за кого-либо предпочтения. Так получилось. Старшекурсники меня предупредили: старый Клайнклауз проработает еще недолго, лучше подождать, пока его заменят. Мне повезло получить этот совет, и я правильно сделал, что ему последовал.

Жан Денио не был великим эрудитом. Его вклад в научную литературу скромнен. Но он был настоящим учителем, в полном значении этого слова. Долгое время преподавая в лицее, он неспешно заканчивал свою докторскую диссертацию. Он изучал Лион начала XV в. По сути, в его сочинении шаг за шагом прослеживался запутанный ход Бургундской войны бургиньонов и арманьяков. Однако повествованию предшествовали пятьдесят прекрасных страниц, где мастерски изображались, словно живые, мужчины и женщины того времени, улицы, речки, колокольни. Изысканная элегантность стиля (Денио давал в молодости уроки греческого Валери Ларбо⁵) способствовала созданию в книге острого ощущения реальности, зримости, при неустанном стремлении автора представить человека во плоти, его желания, труды и особенно его страдания. Денио воплощал собою в лучшем виде ту форму гуманизма, коим я уже был напитан. С нею сочеталось то врожденное жизнелюбие, которое неизбежно побуждает историка сближаться в своих исследованиях с географом и идти тем же путем, что и он, – явление, предвосхищающее современную этнологию. Узнав об этих качествах Денио, Марк Блок через два года устроил его в университет Страсбурга. В ноябре 1939 г. тот вернулся в свой любимый Лион. Почти в шестидесятилетнем возрасте он вводил на факультете в Лионе ту историю, которую спустя 40 лет кое-кто объявит «новой».

Потрясение. Как и Омо, Денио в своей педагогической работе делал акцент на комментировании текстов. Спустившись с кафедры, он давал ученикам документы и, направляя их, предлагал поработать самим. Таким образом, путем практических занятий, как и при изучении географии, я день за днем продвигался к завершению дипломной работы. Упражняясь в расшифровке древних рукописей, я скоро понял, что пергамент, покрытый письменами, должен рассматриваться как один из ландшафтов, структуру которых я продолжал анализировать; и что историк, дабы извлечь нечто из

⁵ Larbaud, Valery (1881–1957) – известный французский поэт, писатель, переводчик – *Прим. перев.*

всего того богатства, которое подобный документ таит в себе, должен размотать клубок не менее запутанных знаков, стремясь к цели, которая ничем не отличается от цели географа: как можно лучше понять систему отношений, связывающих человека с окружающим миром, с другими людьми, с формируемой ими духовной и природной средой. Так у меня пробудился энтузиазм к занятию историей – такой историей, которая не довольствуется холодной констатацией фактов, а продолжает задавать вопросы жизни. Этим я обязан Денио. У кого еще из профессоров его поколения, не считая, конечно, работавших в Сорбонне, столько учеников стали преподавателями университетов? Я одним из первых поддался его влиянию: он сделал из меня то, о чем я и не думал, – медиевиста.

Жан Денио воевал. Долго. На перекурах во время занятий по палеографии он охотно вспоминал о пройденных испытаниях и рассказывал о них не без горечи: война, это безумие, снова была рядом. Ее близость делала ненужной работу, которую вели я и мои сверстники, превращая ее почти в безделицу. В сентябре 1939 г. мы не попали как другие, под всеобщую мобилизацию. Нас пока не призвали. Эта война велась без боевых действий. Она не нуждалась в рекрутах. Мы оказались лишними. У нас была отсрочка. Но мы знали, что приговорены. К смерти. Нам часто повторяли, что такое война, – глупое убийство молодых. Долгие годы мы боялись ее. Читатели *Vendredi, Marianne, La Flèche*, искренние антифашисты, слишком независимые, слишком недоверчивые, чтобы вступать в ряды какой-либо партии, мы верили, однако, всей душой в свободу, боролись за нее, продолжая надеяться на мир, ибо по неисправимому оптимизму веря в человека, были убеждены, что люди вовремя остановятся. Вера в разум мешала нам понять истинную природу диктатуры, трезво анализировать информацию, честно говоря, довольно фрагментарную, которая приходила с той стороны. Мы считали войну недопустимой. Каждый год 11 ноября, когда праздновалось окончание Первой мировой войны, я видел, как плачут друзья моего отца. Мы слушали Жана Зей⁶, читали и перечитывали Анатоля Франса, Селина, Жьон⁷, Мартена дю Гара⁸. И хотя мы также читали «Время презрения» Мальро, наша культура отказывалась принимать то, что насилием следует отвечать на насилие. И кроме того, мы боялись за свою шкуру. Мы только начинали жить, у нас была неудержимая жажда жизни. Мы не могли себе представить, что с этой жизнью будет покончено, или хотя бы, что она будет искалечена. Я не могу осуждать нас за страстное

⁶ Zay, Jean – министр Национального образования в правительстве Народного фронта (1936–1939). – *Прим. пер.*

⁷ Giono, Jaen – французский писатель (1895–1970). – *Прим. пер.*

⁸ Martin du Gard, Roger – французский писатель (1881–1958), лауреат Нобелевской премии по литературе 1937 г. – *Прим. пер.*

желание того, чтобы разум без боя одержал верх над безумием смертоубийства и избавил нас от тревоги.

Но тревога не проходила, а становилась все более напряженной. Конечно, весной 1940 г. настоящая война еще не началась. Как и все, мы еще надеялись на разумный исход, но лишь отчасти. Физическое ощущение близкой гибели в двадцатилетнем возрасте, это ожидание казни заставляло нас наслаждаться каждым мигом жизни, всеми ее удовольствиями и особенно теми, что относились к духовной жизни. Тот год был лихорадочным и плодотворным. 9 июня 1940 г., солнечным днем, часть нашего класса была призвана, как тогда говорили, «под знамена». Но те уже превратились в лохмотья. В тот вечер мы со смятением в душе сели в отправлявшийся на юг переполненный поезд, имея твердую решимость избежать смерти. Мы не убивали, у нас не было оружия. Но что бы мы делали в противном случае? В течение нескольких часов в одном из фортов Гренобля, набивая обоймы автоматов для тех, кто сдерживал немцев в Вореппе, я понял, что человек становится другим, что чувства берут над ним верх, как только к нему приближается бешеный вихрь войны. В действительности, он лишь едва коснулся нас. В пустых казармах, где приходилось квартировать, в рядах разваливающейся армии, мы подчинялись мягким требованиям минимальной дисциплины, продолжавшей падать. С друзьями по взводу, предназначенному для обучения в офицерской школе, поскольку все мы были студентами, мы с отвращением видели дезертирство командиров. В конце нашей «кампании» мы несколько дней гуляли в вишневых садах Маноска, наполненных пением птиц. Мы считали законченной эту войну, с которой, думали, никогда не вернемся. Безразличные и спокойные, мы беспечно провели в армии еще несколько месяцев. Игра судьбы дала мне возможность прожить суровую зиму в тесной компании с рабочими и крестьянами. Время достаточно долгое для того, чтобы понять: классовые различия существуют и зигждутся, в первую очередь, на образе мыслей, веры и поведения.

Когда я вернулся в Лион, он уже стал настоящей столицей «свободной зоны». Написав на скорую руку конкурсную работу по географии, я решил сдавать экзамен на право преподавания в университете. В тот год конкурс объявили на 8 мест. На устном экзамене, проходившем летом 1942 г. в Гренобле – аттестационная комиссия была переведена за демаркационную линию – я оказался девятым. Председатель комиссии Шарль Эдмон Перрэн, профессор средневековой истории в Сорбонне, имел связи в министерстве и заверил меня, что добьется дополнительного места. И он его добился. Своим успехом я обязан Анри Ирене Мару, чьи прекрасные лекции я слушал в тот год, научившись у него, помимо самого глубокого подхода к исчезнувшим цивилизациям, умению рассуждать обо всем. Я много работал, голодая. Голод уже пришел, но еще не было ни страха, ни стыда.

А спустя несколько недель мое зачисление в преподаватели совпало с вторжением немецкой армии в южную часть страны. Государственная система трудоустройства стала разваливаться. Отныне мы думали только о том, как перехитрить оккупантов, полицию из наших сограждан, пытаюсь потихоньку выжить и помочь выжить своим близким. Многие из моих товарищей были арестованы, несколько пропали, большинство попрятались каждый в свою дыру, так же, как и я. Ночь и неизвестность стояли за порогом. То, как я жил в течение этих месяцев убедило меня, что человек по-прежнему зависит от хлеба насущного, что, достигнув определенного уровня, нищета, неуверенность, безнадежность обесценивают и неизбежно душат духовные порывы тех, кто по своей природе не является ни святым, ни героем. Что лишения, когда они не добровольны, когда они продолжительны, порождают скорее зависть, жестокость и низость, чем братское милосердие. Что, будучи свободным, можно многое вытерпеть, но под гнетом все становится серым и грязным. Получив обманом пропуск (Ausweis), я прибыл в опустевший, униженный Париж. Здесь я понял, сколь уязвимы бедняки. Два или три раза, имея, кроме фальшивых документов, способность быстро распознавать слабые места и зная слова, которые следует говорить в нужный момент, и те, которым нельзя доверять, я выскальзывал в последний момент из ловушек, где во множестве застревали из-за своей неуклюжести или отчаяния люди слабые, неопытные, крестьяне, те, кто плохо информирован, не обладает связями, неловок.

В лицее, где я преподавал, царили подозрительность, трусость, лицемерие. Ребята, которые мне доверяли, не были лишены достоинств, особенно будущие учителя. Режим Виши, настроенный до основания искоренить свободу мысли, закрыл все Эколь Нормаль и смешал «избранных учеников» с лицеистами. Взяв за образец манеру преподавания своих учителей, у которых я учился 16 лет, я использовал всю силу убеждения и исторического подхода, стремясь воспитать у лицеистов умение критически мыслить, чтобы лишить идеологии мистического облачения и наглядно показать всю их нелепость и пагубность. Через год меня отправили в младшие классы. Распад нарастал. Казалось, что злые силы и война – та война, которая представлялась мне так же, как Павезе⁹, «столь странной и столь громадной, что можно было без большого труда забиться в угол и позволить ей свирепствовать» – неумолимо разрушали фундамент здания культуры, в котором проходила моя жизнь. Нас поддерживали вести, доходившие из Сталинграда. И однажды ночью мы услышали шедший откуда-то издали гул землетрясения. Он становился все громче и громче. Танки. Это было Освобождение.

II.

⁹ Pavese, Cesare (1908–1950) – итальянский писатель – *Прим пер.*

Какое-то время мне хотелось разделить период, начавший летом 1944 г., на две части: «годы странствий» и пришедшие им на смену около 1955 г. «годы ученичества». Однако все, полагаю, будет более ясно, если я выделю четыре отрезка пути. Каждый начинается в свое время. Но они не следуют один за другим. Не назову я их и параллельными: они пересекаются, а в некоторых точках и совпадают. Они обладают той частичной автономией, которую можно видеть у различных струй, образующих поток. Назовем один из них «университетским», второй – «период Экса», третий – я его определяю по знакомству, но также и по необходимости выделить главное – «период Броделя». Наконец, начало последнего отрезка я связываю с обращением к Альберу Скире¹⁰. Все четыре пути были восходящими. Но не следует забывать, что это индивидуальное развитие в значительной степени происходило на фоне общего быстрого движения, все увлекавшего за собой в этой стране на протяжении тридцати лет.

1.

На следующий день после Освобождения, я направился в Лион. Спотыкаясь на шатких досках, переброшенных через взорванный пролет моста Ла Гийотьер, я шел к красивому старому дому, где жил Андре Алликс. Он рассказал мне о двух вещах. Во-первых, при идентификации замученных и расстрелянных было, судя по ряду серьезных признаков, обнаружено тело Марка Блока. Во-вторых, что Соппротивление возложило на него самого обязанности ректора. Обладая большими полномочиями, которыми наделились те, кто регион за регионом восстанавливал Республику, он решил создать для меня должность ассистента при Жане Денио, его товарище по подпольной борьбе. Должности ассистентов существовали на гуманитарных факультетах уже два года. Их учредили в небольшом количестве не для того, чтобы улучшить образование студентов, и так вполне обоснованно считавшееся достаточным, но чтобы позволить нескольким аттестованным преподавателям поскорее продолжить свои исследования, защитить пораньше диссертации и стать преподавателями университетов раньше, чем состарятся в лицее, подобно своим предшественникам, таким, как Денио. На этой должности можно было находиться лишь шесть лет. Но разве известно о ком-либо, кто потом снова «пал» бы в среднюю школу? Этой неожиданной удачей я смог воспользоваться не без проблем. Уязвленный, что с ним не посоветовались, декан воспротивился и сделал вид, что не знает о моем назначении. Алликс держался хорошо. Кончилось тем, что я был утвержден на этой промежуточной позиции, где я был одновременно и подчиненным, поскольку находился под контролем своего патрона и не перестал чувствовать себя учеником, – и руководителем, поскольку под

¹⁰ Skira, Albert (1904–1973) – известный швейцарский издатель книг по искусству. – *Прим пер*

моим началом оказалась группа студентов, заниматься с которыми мне вскоре понравилось. Наконец-то я занялся своим, страстно любимым ремеслом. Я мечтал уподобиться тем мэтрам, которые меня им увлекли. Теперь я прилагал все усилия, чтобы тоже увлечь учеников, как это некогда сделали они.

С возвращением мира все дышало свободой и надеждой. Однако жизнь оставалась трудной. И такой она была еще долго. Выносить лишения становилось все труднее. Они уже не были общим уделом, как еще недавно, когда почти вся нация согнулась под бременем общей беды. В суматохе восстановления колесо фортуны вращалось очень быстро. Денег больше не было там, где они обычно были. Как и 25 лет назад, после Первой мировой войны великое смещение состояний поколебало всю систему ценностей. Созерцание этого хаоса укрепило меня в изначальном убеждении, что социальное зло состоит, в первую очередь, не в неравенстве, но в посягательстве на человеческое достоинство. Несколько месяцев я тогда состоял в отделении ВКТ гуманитарного факультета. Сколько нас было? Денио, Рене Жюлиан, два других ассистента и я – пожалуй, все. С моей стороны это было проявлением не только вызова (университетскому *истеблишменту*), но и стремления оказаться в лагере эксплуатируемых, разделить с ними те простые и теплые товарищеские чувства, которые, как я с завистью видел, связывали тех из моих друзей, кто был коммунистом. Разве я не работал столь же тяжело, как большинство «тружеников», и разве с меньшей, чем они, озабоченностью ждал конца месяца? В действительности же, я имел по сравнению с ними со всеми неопределимое преимущество – независимость. У меня тоже был патрон, но не этот очень уважаемый мною патрон платил мне жалование. Он состоял в том же профсоюзе, что и я. Он предъявлял ко мне столь небольшие требования, что я был сам себе хозяином. Денио считал меня своим компаньоном. Он предоставил мне свободу, следя за тем, чтобы моя преподавательская работа способствовала тому, что мы оба считали самым главным, самым неотложным, – подготовке диссертации или точнее двух диссертаций – основной и вторичной.

Защита представляла собою весьма суровые испытание. В новые времена институт докторской диссертации (*thèse de doctorat d'État*) был искажен. И полагаю, будет небесполезно напомнить о его достоинствах. Защита требовала не только усердия. Она обязывала того, кто добивался чести взойти на вершину педагогической иерархии, создать монографию, самую важную, самую продуманную из всех, которые он когда-либо писал, и защитить ее, чтобы доказать свою состоятельность в глазах тех, кому он желает стать равным. Войти в круг этих ученых, выполнять ту же, что и они, работу, заложить вместе с ними или вслед за ними свой камень в общее здание. Если география в ту пору, о которой идет речь, играла ведущую роль среди наук о человеке и если французские географы во всем мире пользо-

вались наибольшим авторитетом, то не потому ли, что они, один за другим, создали в плодотворном соревновании между собой целый ряд подобных произведений, дополняющих друг друга?

Жан Денио обладал редким качеством – умением держаться в стороне. Он знал, что для блестящей карьеры требовалось защищать диссертацию в Сорбонне, и попросил Шарля-Эдмона Перрэнна взять руководство над моей работой. Перрэнн, сын преподавателя, обладал качествами старинных ремесленников. Он любил упорный, размеренный, добротный труд. Я нашел у него то, чего не хватало в моем образовании. Его пример научил меня добродетели скрупулезного эрудитского, в немецком духе, исследования, когда документальный материал изучается с помощью различных методов, бесценное умение владеть которыми приобретается в Школе хартий¹¹. Однако венцом кропотливой работы Перрэнна всегда становились несколько страниц блестящего синтеза. В Страсбурге он работал вместе с Марком Блоком и теперь почитал его память не только как патриота-мученика. Кроме того, он был очень сердечным, надежным человеком, всегда стремившимся к справедливости. Очень рано он почтил меня своим доверием, раскрываясь передо мной, скромным слушателем, в откровенных, насыщенных монологах, длившихся многими часами. На следующий день после аттестации я получил от него первый совет: взять цельный корпус документов (почему бы не хартии аббатства Клуни? Они были изданы, но без указателей, из-за чего богатейший источник оставался неиспользованным), подготовить почву, наметить основные линии исследования, стараясь не утонуть, не потеряться в материале, для чего надо было следить за развитием исторических исследований в целом, много читать, оттачивать свой критический инструментарий и, таким образом, формировать постепенно вопросник.

Настойчиво, нередко упорно, иногда выбиваясь из сил, я на протяжении семи лет вел свою работу, докапываясь до глубинных основ, самых материальных, самых неприятных. За отсутствием денег я сам перепечатал двумя пальцами на взятой по случаю машинке около 1800 листов рукописи, которую должен был представить к защите. Диссертацию я построил по образцу географических исследований. Работа «Общество в области Маконнэ XI–XII вв.» отличалась от региональных монографий, опубликованных ранее Деффонтэном, Дерюо, Блашем, Фоше, Жюйаром, лишь тем, что собранные и сопоставляемые наблюдения относились не к современности или недавнему прошлому, а к периоду, отделенному от нас семью веками. Я тоже ограничился определенной территорией. Отчасти это пространство позволяли осветить сохранившиеся архивы аббатства Клуни и нескольких соседствовавших с ним религиозных учреждений. То, что на первый взгляд открывалось в этих рассеянных документах, представляло собою лишь социальный фон. Однако я наложил его на реальный пейзаж

¹¹ Национальная школа хартий – высшее учебное заведение, которое готовит специалистов по палеографии и архивному делу – *Прим пер.*

той сельской местности, которую хорошо знал и любил, дабы увидеть во всей сложности их проявлений и сочетаний генезис и эволюцию тех отношений, которые когда-то давно связывали крестьян и воинов в изучаемых мною деревнях, среди всех этих полей, виноградников, лесов. В силу своей природы хартии мало рассказывают об экономических отношениях, а больше о политических силах, их столкновениях, сосуществовании и взаимодействии. Исследование, таким образом, показывало соотношение разных форм власти, тесно связанное с особенностями данной территории.

Я был близок к завершению своей работы. Заканчивался и шестой год моего пребывания в должности ассистента. Я был счастлив, что преодолел самую трудную часть пути. Меня внесли в список допущенных к преподаванию в высшей школе. Список весьма короткий, что и разумно: он гарантировал трудоустройство. Внесение в список зависело от Консультативного комитета университетов. Перрэн, мой патрон, мог многое. Здесь, однако, решение зависело от старого ворчливого цербера, Луи Альфэна. Я посетил его. Он начал с того, что тут же меня осадил: Ключни – монастырь, его картулярии должны служить, прежде всего, религиозной истории. Но, в конце концов, он одобрил мою первую большую статью. И поддержал меня. В 1950 г. освободилось место преподавателя в самом маленьком университете Франции, в Безансоне. Я был туда назначен, да так там и остался. Безансон мне понравился – простой, крепкий, провинциальный город, на мой взгляд, в наименьшей степени склонный к буржуазному позерству. Я полагал, что вернулся к своим корням, да и большой лес был неподалеку. Тем временем, я узнал об идее назначить медиевиста на единственный факультет, на котором их вообще не было, в Экс-ан-Провансе. За 15 лет до этого, Жьёно меня околдовал, пробудив желание прожить хоть один день среди лаванды. Летом 1939 г., когда я покидал Триев, один, пешком, с рюкзаком, ликуя, я спускался к Эксу, к Марселю. В последние дни мира эта прогулка закончилась на большом, еще очень деревенском постоялом дворе на бульваре Секстиус. Следующей весной отступление привело меня к несравненным пейзажам Маноска. И наконец, в Арле в 1951 г. вечером Троицына дня, возвращаясь с «бегов с кокардой»¹², в маленьком зеленом кафе я услышал за соседним столиком неожиданный разговор: англичанин, преподающий на факультете в Эксе, рассказывал, как он счастлив. Я принял окончательное решение. Оно было неожиданным. Зачем выбирать этот сонный факультет? Достаточно немного подождать: впереди был Лион. Но мне понравился Экс.

2.

¹² Une course à la cocarde – разновидность корриды, проводящейся в Лангедоке – Прим. пер.

Тридцать пять лет назад Экс был прекрасен. Во Франции не существовало ни одного города такой величины (40 тысяч жителей), у которого еще не было пригорода. Еще слыша пение фонтанов, достаточно было сделать несколько шагов, чтобы оказаться среди оливковых рощ и холмов. И в трепете летней ночи – Моцарт. В каком еще более богатом краю мог я надеяться начать свою погоню за счастьем? Мне казалось, что в этих молчаливых улочках я могу прикоснуться то к Жану-Анри Фабру, то к кардиналу Берни. Лион – скука. Экс – наслаждение.

Но испытать его мне чуть было не помешали. Все еще свирепствующая, менее опасная, чем могла бы быть, но, тем не менее, разрушительная, эта язва французского высшего образования – местный прием на работу. Профессор истории (единственный, другой удалился на пенсию) учтиво дал мне понять, что факультет сделал свой выбор и посоветовал мне попытаться счастья в другом месте. Но удача не оставила меня. Некогда декан в Лионе подчинился решению ректора. На сей же раз претензии этого маленького кружка на замкнутость были преодолены при помощи министра. По совету Перрэнна, руководитель высшего образования заставил взять меня на работу.

Однажды поздним вечером в ноябре 1951 г. передо мной, наконец, открылась красивая дубовая дверь факультета в Эксе. Весь факультет помещался в тихом особняке времен Людовика XV около собора. Настоящая прелесть: дворик с тремя посаженными платанами, несколько залов с лепниной, самый большой служил аудиторией. Залы не удивили меня. В Безансоне кафедра, с которой я читал свой курс, была расположена перед огромным зеркалом, и я представлял – не без некоторого смущения – своих студентов (числом ровно семь в те недели, когда было не очень холодно), созерцающих, мою раздвоенную таким образом персону. Новым было само чувство: оказаться здесь, в тысяче лье от Парижа. Декан, подвижный старик, признался мне, что за всю свою жизнь ни разу в нем не был. Меня он принял очень любезно, позаботившись о том, чтобы ничего не заставило меня поверить, что ко мне относятся, как к чужаку. «Вы весьма удачно приехали, – сказал он мне, – сейчас как раз время нашего заседания; я вас сразу познакомлю с вашими новыми коллегами». И он отвел меня в комнату, напоминающую будуар. Я увидел там восемь, не больше, пожилых людей. Они беседовали.

Я получил больше, чем рассчитывал. Множество студентов – живых, на которых было приятно посмотреть, прилежных, церемонных. На соседнем престижном факультете – права и экономических наук – было обилие молодых ученых. Большинство прибыли из-за моря, полные идей и веселья. Город, который можно было пересечь за семь минут, подходил для встреч, импровизированной торговли, интеллектуального сотрудничества. Никаких споров о должностях и почестях, никакой алчности, язвительности между нами, начинающими, преисполненными радостью от начала карье-

ры. Пересечение проблематики, методов различных гуманитарных наук происходило спонтанно и по-настоящему плодотворно. Наконец, рядом лежал Марсель, расстилающийся перед роскошным морем. Мне нравилось быть увлекаемым толпой, спускаясь к закату солнца, счастливого как король, до Старого Порта. Окруженный превосходными друзьями, я вкушал, день за днем, наслаждение жизнью, с той же радостью, которой была околдована Симон де Бовуар, находясь в тех же краях несколькими годами ранее.

Юг вырвал меня из монотонности жизни. В то же время, надо сказать, я выбрался из стесненных обстоятельств: государство честно вознаграждало своих служащих. Защитив по всем правилам диссертацию (я был уверен в тот день в своей правоте: Перрэн тем же вечером пригласил меня на ужин; он не прошел даром, этот нескончаемый день), обосновавшись на кафедре, в тридцать три года я получил полную свободу. В частности, свободу действовать по-своему. Чтобы заполучить Марру, ведущего в Лионе свои курсы лекций, и собирать вокруг него на еженедельные дискуссии самых продвинутых студентов, я решил организовать семинар. Мои коллеги были поражены. И ошеломлены еще больше, когда я объявил о своем намерении ориентировать небольшую исследовательскую группу, которую составляли мои первые выпускники, на историю ментальностей. На заседании некоторые выступили против, ссылаясь на то, что подобный сюжет невозможно изучать научно. Я стоял на своем и тогда же (очень рано, еще в 1955 г.) избрал темой для семинара историю родственных отношений, историю брака, историю смерти. В более сильном университете, менее бездеятельном, менее удаленном от столицы, ее давления, ее соперничества, я не смог бы, уверен, начать так быстро, пользуясь полной свободой, этот переворот, переход от концентрации внимания, как это было ранее, на материальных основах феодального общества, к тогда еще авантюрному анализу других факторов, не менее определяющих, но зависящих от сознания.

Для всех французских университетов шестидесятые годы были временем быстрого развития. Нигде этот рост не был столь стремителен, как в университете Экс-Марсель. На гуманитарном факультете это было связано с деятельностью декана Бернара Гийона. (Сейчас, называя это имя, я думаю, насколько же глубока тогда была пропасть разделяющая Париж и провинцию. Когда авторы, вместе со мной представленные в этой книге, вспоминают своих коллег, друзей, то благодаря тому, что учились в Париже и продолжали там жить, они называют известные имена, тогда как самые чудесные люди, которых воскрешает моя память, совершенно неизвестны или почти неизвестны). Начиная с нашей встречи в 1952 г., меня связывала с Гийоном близкая дружба, братская и бурная. Великодушный, распространяющий на свою жизнь принципы блистательного христианства, он говорил о правах человека (по поводу войны в

Алжире), о пытках, обновлении католицизма. Он присоединялся к моему лагерю, несмотря на все те корни, которые должны были его удерживать в другом. Мы завидовали друг другу и испытывали взаимное восхищение. Нас одновременно пригласили в Сорбонну, и мы поддержали друг друга в нашем взаимном, трудном решении ни за что не покидать провинцию. Такой выбор заставлял сделать все, чтобы вырвать то место, где мы работали, из сонного и жалкого состояния, дабы оно стало привлекательным для обитания. Отсюда настойчивость, которая заставила Гийона за три года вывести «свой» факультет с последнего места на первое, и поддержка, которую, не взирая ни на что, я получил от него.

Развитие шло все быстрее и быстрее. Вокруг меня разворачивалась бурная деятельность, проявлял себя и я сам. Суть периода Экса в истории моих научных изысканий составляло то, что этот город, такой спокойный и приятный для работы, его прекрасные и еще пустынные окрестности, куда я удалялся писать, были, в качестве необходимой компенсации, широко открыты миру. Я многим обязан тем трем неделям июля, когда десять лет подряд я старался заставить четыре десятка молодых людей, съехавшихся со всех берегов Средиземного моря, вместе жить и общаться. Мы еще мечтали о мире, считали возможным подготовить подобными встречами восстановление согласия в этом уголке. Идея возникла в 1960 г. во Флоренции в кругу Джорджо Ла Пира. Мы ухватились за нее, перенеся двумя годами позже эти встречи в Экс при поддержке Рене Сейду, еще одного из тех щедрых людей, чью память я чту. Алжирцы, одурманенные едва обретенной независимостью, каталонцы, только что вышедшие из франкистских тюрем и обреченные туда вернуться по возвращении, прекрасные гибкие египтянки, которых прислал Аль-Азхар¹³, сирийцы и ливанцы, греки и турки, палестинцы и израильтяне – существовал ли где-то еще на земле другой такой стол, за которым они соглашались бы сидеть бок о бок? Разве я не обязан этим также своим путешествиям, все более частым и отдаленным? Если бы я не вышел из своей скорлупы навстречу историкам из других стран, навстречу другим культурам, разве я бы продвинулся столь далеко в постижении общественной формации, которую избрал для изучения, ее функционирования, идей, которые выдвигали здесь, во Франции, люди жившие семь-восемь веков тому назад, основываясь на понимании своего места в этой зримой и незримой вселенной? Тем не менее, покидая Прованс, чаще всего я отправлялся в Париж.

3.

¹³ Al-Azhar – университет в Каире. – *Прим. пер.*

Отрезок пути, который я назвал «броделевским», берет свое начало намного раньше, в предвоенные годы. Я был тогда в школе «Анналов». Если расставить слова в предложении именно таким образом, они приобретают вполне определенный смысл. Допускают ли они единое толкование? Иными словами, существует ли единственная «школа «Анналов»? Сегодня, безусловно, нет. Есть учреждения и работающие в них последователи. Эти заведения теперь полностью выполняют свою функцию, я слышу, что они повсюду щедро и настойчиво распространили свои идеи, методы, подходы, сформированные, обогащенные, развитые в их кругу, тем самым стимулируя, обновляя исторические исследования во всем мире, но, прежде всего, не будем забывать, в самой Франции – везде, вплоть до тех укрепленных цитаделей, где долгое время сопротивлялся надменный консерватизм. Что же было до этого, в те времена, о которых я рассказываю, в 1937 г.?

Тогда два человека, Марк Блок и Люсьен Февр, боролись бок о бок против того понимания истории, которое они считали слишком узким, против позитивизма и его интереса почти исключительно к политическим и военным событиям. Особенно они стремились к тому, чтобы вывести историков из изоляции, убедить их сотрудничать не только с географами, но и с социологами, экономистами, демографами, принять участие в том, что начинало получаться в смежных дисциплинах в области наук о человеке, более молодых, еще мало разработанных, но уже торжествующих. Эти два человека объединяли тех, кого я считал лучшими. Среди них трое моих руководителей: Алликс, Денио, Перрэн. Бурный, упорный, этот поединок – их сменил в нем Фернан Бродель – продолжался до конца 60-х годов. В тот момент все или почти все противоположные точки зрения были сметены новой силой.

«Анналы экономической и социальной истории» были, как известно, их основным наступательным оружием и орудием их успеха. Об этом журнале я узнал отнюдь не от своих первых наставников в истории: у меня есть ощущение, что в 1937 г. он еще не много значил для Дусе, Фюжье, Омо. Однако географы его ценили. От них я узнал о «Характерных чертах»¹⁴ Марка Блока, через них открыл для себя «Анналы». Я окунулся в них, залпом прочитал всю подборку. Они стали моей основной пищей до того, как я набросился на «Королей-чудотворцев», «Феодальное общество», стоило лишь ему выйти в свет, «Религию Рабле». Эти работы сделали меня таким, какой я есть.

Однажды вечером, в Лионе, осенью 1944 г. (Марк Блок уже погиб к тому времени, я его никогда не встречал), Алликс представил меня Люсьену

¹⁴ Имеется в виду курс лекций, прочитанный М. Блоком в Институте сравнительного изучения культур в Осло – «Характерные черты французской аграрной истории». – *Прим. пер.*

Февру. Я его читал. Я был восхищен. Так я оказался перед этим человеком, еще молодым, полным жизненных сил. Он согласился мною руководить. Я регулярно приходил к нему за консультациями. Где произошел этот разговор, который я до сих пор помню слово в слово? В квартире напротив Валь-де-Грас или в одном из бюро на улице Ла Бом, где располагалась недавно созданная VI секция Практической школы высших исследований? Люсьен Февр предупреждал меня, убеждал, что главное – не расшифровать и разгадать смысл документа. Это невозможно. Важно: ни в коей мере не зарываться в архивах. Ценится, прежде всего, свобода, широкий жест, кругозор. Нуждался ли я в подстраховке: Фотье справа, Перруа слева? Мог ведь и сам отправиться на поиски приключений, испытать радость поставить все на карту, совершить открытие. Когда мои лионские наставники вверяли меня парижским учителям, я был счастлив сразу же оказаться в точке равновесия: между Перрэнном и Февром, между осторожностью и дерзостью.

Так начались мои отношения с VI секцией – если когда-либо существовала единая школа «Анналов», то это был ее истинный оплот. Эти отношения укрепились благодаря Роберу Мандру, которого я встретил в 1955 г. Издательство *Armand Colin*, тесно связанное с «Анналами», искало тогда желающего обновить старую «Историю французской цивилизации» Рамбо. К тому времени я уже получил от Поля Лемерля для серии, которую он начал в *Aubier*, первый из заказов, составивших большую часть моих работ. Принял я и второй – с условием, что буду работать не один. Ко мне присоединили Мандру. У него был ужасный характер. Мы стали хорошими друзьями. Было ли случайностью, что по возвращении в Париж после долгого отсутствия мне довелось встретить в парижской интеллектуальной среде двух человек, чья помощь была особенно ценна, и которых ценил Фернан Бродель, до того, как он резко порвал с ними? Это были Робер Мандру и Жак Ле Гофф. Я искренне признателен им. Благодаря первому, я стал писать для «Анналов». Он добился для меня от Клемана Эллера¹⁵ нескольких кредитов, которые создали мне независимое положение на факультете в Эксе – и все это происходило в тесном сотрудничестве с Мандру, которого я убедил, следуя пути, проложенному Люсьеном Февром, исследовать неопределенную область ментальностей прошлого. Что же до Ле Гоффа (мы были знакомы с тех времен, когда он организовал в Руае-моне важный коллоквиум по истории ереси; кроме того, после ухода Перрэнна, мы разделили его нагрузку в Эколь нормаль на улице Ульм), он оказал мне существенную поддержку через пятнадцать лет. Когда я работал в Коллеж де Франс, мне нужно было оживить семинар. Ле Гофф заставил

¹⁵ Один из руководителей Дома наук о человеке и преемник Ф. Броделя на посту его администратора (в 1975–1992 гг.). – *Прим. пер.*

себя регулярно его посещать, не только оживляя его остротой своих вопросов, но и привлекая к нему лучших из своей собственной группы.

Десяток лет отделяют время общения с Люсьеном Февром от периода, связывающего меня с Фернаном Броделем. И вот как. В 1953 г. Жюль Блаш, бывший тогда ректором в Эксе, пригласил меня в комиссию по аттестации географов. Я должен был до июля 1956 г. проводить каждый год целый месяц во время устных экзаменов в духоте парижского лета. Фернан Бродель возглавлял аттестационную комиссию по истории. Бродель, Блаш и несколько их единомышленников имели обыкновение собираться во время послеполуденного перерыва у Бальзара. Бродель там царил, великодушный, жизнерадостный. Я уже не раз говорил в других местах о своем огромном долге перед ним. Он меня принял. Быть может, я злоупотреблял временем, которое он мне уделял: я часами слушал его рассказы обо всем на свете в заполненном книгами бюро на улице Монтичелли. С одной стороны, он побудил меня сменить курс: если бы я продолжал свои исследования в том же духе, я без сомнения заплутал бы. С другой, – он незаметно прокладывал путь, ведущий в самые плодородные края. Прежде всего, он оказал мне доверие, которое мало-помалу пробудило у меня стремление это доверие оправдать. Он дал мне даже больше: направил меня, подталкивая, поддерживая, на новую и широкую дорогу. Бродель убеждал меня идти в Школу высших исследований, тогда как Лемерль – в Сорбонну. Я упорствовал в своей жажде независимости и любви к большому количеству солнца и свежего воздуха. Но, в конце концов, я уступил. Шестьдесят восьмой год остановил развитие факультета, который я любил. Он стал подобен нагоняющему скуку большому лицу, где нет порядка. Главное же, мне была обещана поддержка моей кандидатуры в Коллеж де Франс. Бродель, как некогда Денио, отошел в сторону. Он опасался, как бы мое избрание не было затруднено слишком тесными связями с «Анналами». Ему казалось разумным, чтобы я на время возглавил конкурирующее издание – *Revue historique*. В то же время он просил Лемерля представить меня. Так, Поль Лемерль ввел меня в Коллеж де Франс, как немногим позже в Институт, на место Шарля-Эдмона Перрэна.

Фернан Бродель любил отдавать: он хотел дать мне больше. Когда я был наполовину парижанином, он предложил мне войти в редколлегию «Анналов», руководить исследованиями в VI секции (что весьма символично), не требуя ничего, кроме присоединения к ученым, которые там уже собрались. В 1970 г. Бродель больше не имел всей власти в своих руках. Я не получил ни единой ее частички. В действительности же, у меня было все.

4.

Мне нередко везло, но из всех таких случаев я должен особо выделить один, имевший важные последствия, – звонок Альбера Скиры в однажды

ночью 1958 г. У него вызревал некий проект. Он рассказал мне о нем в Женеве. Считал ли я возможным для более глубокого проникновения в общий ход истории художественного творчества заняться, в продолжение отличных книг, выходявших ранее, темой отношений между искусством, обществом и культурой, которые, развиваясь эпоха за эпохой, осознавались или отвергались? Оказалось, что уже некоторое время я и сам хотел подступить к этой проблеме. Я написал один, потом второй, а затем и третий том. Я писал их с радостью. Скира оказался отличным руководителем; работать с ним было великолепно. С его помощью я стал смотреть на живопись гораздо шире. Наконец, задача, которая была мне поручена, подарила мне свободу. Я мог писать в другом стиле, выйти из маленького университетского мирка, в котором до того времени держала меня моя работа.

Поскольку, как я только что сказал, он положил начало четвертому отрезку моего пути, я дал этому отрезку имя Скиры. Я мог бы с тем же успехом выбрать и другое имя: Пьера Нора, который очень скоро стал подталкивать меня в том же направлении. Когда я еще работал над последними томами, заказанными Скирой, Нора приехал в Экс поговорить со мной о серии *Archives*, которую он задумал незадолго до того. Я предложил ему очерк о тысячном годе. Так началась наша дружба. Она привела меня в издательство *Gallimard*.

В бело-красной обложке, обложке всех тех чудесных книг, которые я поглощал с пятнадцати лет, со знаком журнала, который до войны дал мне почти столько же, сколь и «Анналы», и было издано большинство моих работ. Две из них имели особую судьбу. Одна, которую я согласился написать к немалому удивлению моих друзей, посвящена битве при Бувине (появившись в той же серии *Pavie* Жюно, которой я так наслаждался, она позволила мне любые вольности, особенно при том, что я полагал необходимым после столь долгого изучения «структур», развитие которых лежало в основе эволюции социальных отношений, дабы еще лучше их понять, поставить в центр исследования одно-единственное событие). Другое издание представляло собой собранный в один том очерк социологии средневекового искусства, написанный для Скиры. Чтение первой книги вдохновило Сержа Жюли на создание сценария фильма. Отталкиваясь от второй я создал по просьбе Роже Стефана серию телепередач.

Дело в том, что после 1970 г. общество по малопонятным для меня причинам стало все более живо интересоваться историей. Некоторые профессиональные историки решили больше не писать для одних только своих коллег и учеников, и история (я имею в виду серьезную историю), соединяя точность и вкус к открытиям с элегантностью стиля, вновь превратилась в то, чем она была во Франции XIX в., – в крайне плодотворный литературный жанр. Некоторые профессиональные историки решили также

использовать не только слова, но и образы. Я не думаю, что мы сами принесли себя в жертву. Мы колебались, были обеспокоены этим внезапным, головокружительным выходом на огромную, разнородную, неуловимую аудиторию. Однако искус был велик. Мы рискнули. И прекрасно себя при этом чувствовали.

Таков был последний эпизод. Четвертый отрезок пути, тесно связанный с тремя предыдущими, которые я кратко обрисовал, привел меня к той точке, где я остановился, к 1 января 1986 г.

Я недоволен тем, что только что написал. На самом деле я не уверен, что историк лучше других способен к анализу воспоминаний, которые касаются его самого. Я склонен думать, что он к этому способен гораздо менее, чем многие. Поскольку если история других, на мой взгляд, чем более страстна, тем лучше, то история самого себя требует, напротив, самой строгой объективности. Ей нужно всеми силами исправлять то, что самолюбие неизбежно деформирует. У меня есть ощущение, что я не до конца себя обуздал, все более отпуская поводья по мере приближения к дню сегодняшнему. Так что если кому-то после меня придется искать информацию о том, что представляло собою во Франции второй трети XX в. ремесло историка, пусть он сурово покритикует эти воспоминания.